

Глава XI

Мы не оставляли попыток сократить Сашин срок. В конце декабря на одном из еженедельных собраний я заметила, что из аудитории на меня пристально смотрит незнакомый мужчина — высокий, широкоплечий, голубоглазый, с мягкими светлыми волосами. Особенно мне бросилось в глаза то, что он всё время болтал правой ногой, при этом вертя в руках часы. Эти монотонные движения вгоняли в сон, и приходилось постоянно себя одёргивать. В конце концов я подошла к незнакомцу и забрала у него часы. «Детям нельзя играть с огнём», — шутливо сказала я. «Хорошо, бабушка, — ответил он в том же тоне, — но вы должны знать, что я революционер. Я люблю огонь. А вы разве нет?» Он улыбнулся, обнажив красивые белые зубы. «Да, но ко времени и к месту, — парировала я. — А здесь сейчас столько людей! Вы меня нервируете. Пожалуйста, перестаньте болтать ногой». Мужчина извинился: оказалось, что дурной привычкой он обзавёлся в тюрьме. Меня охватил стыд — я тотчас вспомнила Сашу и попросила незнакомца не обращать внимания на мои упрёки. «А не могли бы вы рассказать мне о своей жизни в тюрьме? У меня там сейчас близкий друг», — сказала я. Очевидно, он понял, о ком я говорю. «Беркман — человек отважный, — ответил мужчина. — Мы в Австрии о нём знаем и восхищаемся его поступком».

Незнакомца звали Эдвард Брейди; он недавно приехал из Австрии, где отсидел в тюрьме десять лет за издание нелегальной анархистской литературы. При дальнейшем знакомстве я убедилась в том, что Брейди — самый образованный человек из всех, кого я знала. Его интересы не ограничивались только социальными и политическими предметами, как у Моста, — он вообще редко говорил со мной на эти темы. Зато Брейди познакомил меня с классиками английской и французской литературы. Ему нравилось читать мне Гёте и Шекспира или переводить отрывки с французского; больше всего он любил Жан-Жака Руссо и Вольтера. Он превосходно говорил по-английски, хоть и с лёгким немецким акцентом. Как-то я спросила, где он получил такое образование. «В тюрьме», — последовал ответ. Естественно, Брейди в своё время отучился в гимназии, но именно в тюрьме для него началась настоящая учёба. Сестра послала ему английские и французские словари, и он стал ежедневно заучивать множество слов. В одиночной камере Брейди всегда читал вслух — это была единственная возможность выжить. Многие сходили там с ума, если ничем не могли занять свою голову. Но Брейди считал тюрьму лучшей школой для людей с идеалами. «Значит, мне, такой ужасной невежде, срочно нужно в тюрьму», — заметила я. «Не нужно так спешить, — ответил он. — Мы едва познакомились, да и слишком ты молода для тюрьмы». «Беркману было всего двадцать один», — сказала я. «Именно это и прискорбно, — голос Брейди дрогнул. — Меня посадили в тридцать, и я уже успел насладиться жизнью».



Эдвард Брейди

Он попытался сменить тему и спросил о моём детстве и школьных годах. Я ответила, что отучилась только три с половиной года в кёнигсбергской Realschule⁴⁶. В суровых рамках дисциплины у безжалостных преподавателей я почти ничему не научилась. Только учительница немецкого была добра со мной. Чахотка медленно убивала её тело, но не могла убить в ней терпение и нежность. Она часто приглашала меня к себе домой для дополнительных занятий. Ей особенно нравилось рассказывать о своих любимых авторах: Марлитт, Ауэрбах, Гейзе, Линден, Шпильхаген... Марлитт учительница любила больше остальных, поэтому её полюбила и я. Мы вместе читали романы Марлитт и плакали над судьбой несчастных героинь. Моя учительница поклонялась королевскому дворцу: Фридрих Великий и королева Луиза стали её идолами. «Этот мясник, Наполеон, так жестоко обошёлся с бедной королевой», — взволнованно говорила она. Учительница часто читала мне один поэтический отрывок — молитву королевы:

Wer nie sein Brot in Tränen ass –
Wer nie die kummervollen Nächte
auf seinem Bette weinend sass –
Der kennt euch nicht, Ihr himmlischen Mächte⁴⁷.

Эта пронзительная строфа захватила все моё существо, и я тоже стала поклонницей королевы Луизы.

Два других учителя были ужаснее некуда. Один, немецкий еврей, преподавал религию, второй был учителем географии. Обоих я ненавидела. Первый регулярно избивал нас, и порой я не выдерживала и срывалась прямо на него, но второй запугал меня до такой степени, что я даже дома не осмеливалась пожаловаться.

Нашему религиозному наставнику нравилось бить нас линейкой по ладоням. Я придумывала изощрённые способы мести, чтобы отплатить ему за причинённую боль: втыкала булавки в сиденье стула, украдкой привязывала длинную фалду пиджака к ножке стола, засовывала в карманы улиток... Он догадывался, что все это подстраиваю я, и бил меня ещё сильнее — но, по крайней мере, мы враждовали открыто.

Со вторым учителем все было совсем иначе. Его методы воспитания пугали нас больше, чем любая экзекуция. Каждый день он приказывал нескольким девочкам задержаться после занятий. Когда все расходились, учитель посылал одну девочку в соседний класс, а другую тем временем заставлял сесть к себе на колени, тискал за грудь или запуская ей руку между ног. За молчание ученице обещались хорошие оценки, а за ненужную болтовню — мгновенное отчисление. Запуганные девочки молчали. Я ничего не подозревала об этом, пока однажды сама не оказалась у него на коленях. Я закричала и стала дёргать его за бороду, пытаюсь высвободиться из объятий. Учитель кинулся к двери — проверить, не услышал ли кто, а потом прошипел мне на ухо: «Если ты хоть слово вымолвишь, я вышвырну тебя из школы».

Пару дней я боялась возвращаться в школу, но все же никому не рассказала о случившемся. Но вспомнив, какой разнос отец устраивает мне только из-за плохой отметки, я решилась вернуться — страшно было подумать, что за кара будет ждать меня за отчисление. Несколько уроков географии прошли спокойно. У меня было плохое зрение, и я всегда подходила к карте как можно ближе. Однажды учитель прошептал мне: «Ты останешься позади». «Не останусь!» — прошептала я в ответ. В следующую секунду жгучая боль пронзила мою руку: он впился в неё ногтями. На крики сбежались учителя. Географ объяснил им, что я тупица, никогда не учу уроков, поэтому и пришлось прибегнуть к наказанию. Меня отослали домой.

Ночью рука разболелась ещё сильнее и распухла, и мама послала за доктором. Он был очень дружелюбен и сумел добиться от меня правдивого рассказа о случившемся. «Кошмар! — воскликнул он. — Этому парню место в сумасшедшем доме». Через неделю я вернулась в школу, но географа там не оказалось: нам сказали, что он отправился путешествовать.

Я ужасно не хотела уезжать в Петербург: одна только мысль о расставании с моей любимой учительницей немецкого была невыносима. Она пообещала мне помочь с поступлением в гимназию, и я стала брать у её друзей уроки музыки и французского. Мечтой немки было продолжить моё образование в Германии; я хотела изучить медицинское дело, чтобы стать полезной миру. Череда долгих уговоров, слезы, и мама разрешила мне остаться в Кёнигсберге с бабушкой, если я сдам вступительные экзамены. Я занималась днём и ночью и прошла конкурс, но дальше потребовалось принести справку о примерном поведении от религиозного наставника. Было неприятно обращаться с просьбой к такому человеку, но я понимала, что сейчас моё будущее зависит от него. Учитель перед всем классом заявил, что никогда не оценит моё поведение как «примерное»: я вела себя плохо, из ужасного ребёнка превращусь в ещё более ужасную женщину, я не уважаю старших и не признаю авторитетов, я однозначно кончу на виселице, потому что опасна для общества... Домой я вернулась с тяжёлым сердцем, но мама разрешила мне продолжить учёбу в Петербурге. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В России я проучилась всего полгода. Впрочем, дружба с русскими студентами успела оказать на меня бесценное духовное влияние.

«Да, учителя у тебя были последними скотами, — заявил Брейди. — Но знаешь, религиозник-то оказался пророком! Теперь тебя и впрямь признали опасной для общества, а если будешь продолжать в том же духе, то и умрёшь не своей смертью. Но не печалься. Все лучшие люди

умирают на виселицах, а не в дворцах».

Со временем мы с Брейди крепко сдружились. Я стала называть его Эд: он считал, что полное имя звучит официально. С его подачи мы стали вместе читать по-французски, первой стала книга «Кандид, или Оптимизм». Я читала медленно, то и дело сбиваясь, со скверным выговором, но мой новый товарищ оказался прирождённым учителем с недюжинным запасом терпения. По воскресеньям Эд играл в хозяина моей нынешней съёмной квартиры — выгонял из дома нас с Федей и колдовал над мясом. Он был превосходным поваром. Изредка мне разрешалось наблюдать за его работой, и тогда Эд подробно, с видимым удовольствием объяснял мне техники приготовления блюд. Вскоре я уже преуспевала в кулинарии больше, чем во французском, и освоила множество новых рецептов прежде, чем мы осилили «Кандида».

По субботам мы не читали лекций и отдыхали в заведении Юстуса Шваба — радикальном центре Нью-Йорка. Внешне Шваб был типичным немцем: рост более шести футов, широкая грудь, на массивной шее — величавая голова с курчавыми рыжими волосами и бородой. Взгляд Шваба словно бы сиял ярким пламенем. Но прежде всего его отличал от других голос — глубокий и мягкий, как у оперного певца; и Шваб без труда мог бы снискать славу на этом поприще, если бы не его характер — бунтаря и мечтателя. Задняя комната кабачка Шваба на 5-й улице стала меккой французских коммунаров, испанских и итальянских беженцев, русских политических иммигрантов, немецких социалистов и анархистов, бежавших от «железной пяты Бисмарка»... Юстус, как мы его ласково называли, был всем нам товарищем, советчиком, другом. Приходили к нему и множество американцев, среди которых были писатели и художники. Джон Суинтон⁴⁸, Амброз Бирс⁴⁹, Джеймс Ханекер⁵⁰, Садакити Гартманн⁵¹ и прочие интеллектуалы любили собираться у Юстуса — послушать его бархатный голос, угоститься восхитительным пивом или вином, допозда поспорить о мировых проблемах... Мы с Эдом быстро стали завсегдатаями этого места. Эд разглагольствовал об этимологии какого-нибудь английского, французского или немецкого слова перед группой филологов, я спорила с Ханекером и его друзьями об анархизме... Юстус любил эти баталии и частенько подначивал меня на них. После он говорил, поглаживая меня по спине: «Эммочка, твоя голова не предназначена для шляпы — она предназначена для верёвки. Взгляните на эти изгибы — верёвка очень уютно устроилась бы здесь». На этих словах Эд всегда вздрагивал.



Юстутс Шваб

Такая нежная дружба вовсе не означала, что мы полностью забыли о Саше — его судьба и Эду тоже была далеко не безразлична: он присоединился к группам, продолжавшим заниматься защитой нашего узника. Тем временем Саша сумел наладить тайный почтовый канал. В «официальных» письмах он мало сообщал о себе, но хорошо отзывался о тюремном священнике — тот вёл с ним оживлённые беседы, приносил книги. В «подпольных» же бурно выплёскивалась ярость по поводу приговора Бауэру и Нольду, и вместе с тем в них теплилась надежда: Саша больше не чувствовал себя так одиноко, зная, что его товарищи находятся рядом. Он пытался установить с ними контакт, но их поместили в другое крыло тюрьмы. Теперь наши послания были для Саши единственной связью с миром, и я просила всех наших друзей писать ему почаще.

Я сочиняла письма, не переставая помнить о том, что их прочтёт тюремный цензор — в итоге они казались холодными, сухими. А мне очень хотелось, чтобы Саша осознал, что он всегда будет важнейшим человеком в моей жизни, как бы она ни менялась, кто бы в ней ни появлялся кроме него. Я была недовольна своими письмами и чувствовала себя несчастной. Но жизнь шла своим чередом. Мне приходилось ежедневно проводить за швейной машинкой по десять-двенадцать часов, чтобы заработать на пропитание. Почти всё моё свободное время занимали регулярные собрания и уроки — почему-то с Эдом я особенно остро ощутила необходимость продолжить заброшенное было образование.

Наша дружба постепенно переросла в любовь. Эд стал для меня незаменим. Я быстро поняла, что значу для него на самом деле: Эд никогда не говорил мне о своей любви — с его-то откровенностью во всех прочих вопросах! — но взгляды, прикосновения выдавали его с головой. У него были женщины и до меня: одна из них даже родила ему дочь, которая теперь жила с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Эд часто говорил, что благодарен этим женщинам за то, что они открыли ему тайны секса. Я мало что понимала в его рассказах, но стеснялась спрашивать подробнее, хотя мне было интересно понять, что такого Эд находит в сексе — мне он казался всего-навсего примитивным процессом. Я не получала удовлетворения от секса, потому что сама не знала, чего хочу. Во главу угла я ставила любовь — чувство, в котором самоотдача становится высшей радостью.

В объятиях Эда я впервые постигла суть великой жизнеутверждающей силы любви. Я поняла её во всей полноте и жадно впитывала эту пьянящую радость, это блаженство. Любовь была словно исступлённая песнь, умиротворяющая душу, и моя новая маленькая квартирка стала её храмом. Часто меня посещала мысль, что эта гармония не может царить вечно — слишком уж всё прекрасно, слишком совершенно... В такие минуты моё сердце начинало бешено стучать, и я льнула к Эду. Он прижимал меня к себе и тотчас разгонял непрошенные мысли чем-нибудь весёлым. «Ты перетрудилась, — говорил он. — Шитьё и волнение за Сашу тебя доконают».

Весной я начала худеть и вскоре ослабела настолько, что не могла передвигаться даже по комнате. Доктора велели срочно сменить обстановку. Друзья уговорили меня уехать из Нью-Йорка, и я отправилась в Рочестер — одна девушка вызвалась ухаживать за мной в дороге.

Сестра Елена решила, что её жильё слишком тесно для больной, и выхлопотала мне комнату в доме с большим садом. Каждую свободную минуту Елена проводила со мной, не скупясь на любовь и заботу. Она сводила меня к пульмонологу — тот обнаружил начальную стадию туберкулёза и назначил мне особую диету. Мне становилось всё лучше и лучше, и через два месяца я оправилась достаточно, чтобы снова ходить. К зиме доктор планировал послать меня в санаторий, но дальнейшие события в Нью-Йорке перемешали все карты.

В тот год промышленный кризис оставил без работы тысячи людей. Их положение было ужасающим. Наихудшая обстановка сложилась в Нью-Йорке. Безработных выселяли из домов; с каждым днём проблемы продолжали усугубляться, непрестанно росло число суицидов. Но никаких мер не принималось.

Я не могла дальше оставаться в Рочестере. Разум говорил мне, что прерывать лечение и уезжать безрассудно. Я стала сильнее, набрала вес, кашляла намного меньше и забыла о кровоизлияниях, но до полной поправки мне было ещё далеко. Но что-то сильнее рассудка влекло меня обратно в Нью-Йорк. Конечно, я скучала по Эду, но прежде всего — чувствовала ответственность за обездоленных рабочих Ист-Сайда, в среде которых и началась когда-то моя борьба за права трудящихся. Я участвовала во всех предыдущих кампаниях и не могла сейчас оставаться в стороне. Доктору и Елене я оставила записки: не хватило духу поговорить с ними лично.

Я отправила Эду телеграмму. Он радостно встретил меня, но его настроение изменилось, едва он узнал о цели моего приезда. Сумасшествие — осознанно отправиться терять снова с таким трудом восстановленное здоровье! Это ведь может быть и смертельно! Нет, Эд не мог допустить подобного, и я должна была полностью покориться его любви, защите и присмотру.

Было приятно осознавать, что кто-то так заботится обо мне, но в то же время я ощущала себя инвалидом. Эд будет меня удерживать и защищать? Он считает меня вещью, требующей усиленной охраны? Я-то думала, он уважает моё право на свободу... Эд заверил меня, что только волнение и страх за моё здоровье заставили его говорить в подобном тоне: если я уверена в своих силах, он готов помогать. Оратором Эд не был, но вполне мог пригодиться и в других делах.

Я целиком окунулась в работу: заседания комитетов, митинги, сбор еды, кормление бездомных и их многочисленных детей... Вершиной всего стал митинг на Юнион-сквер.

Перед митингом состоялась многотысячная демонстрация. Впереди шли девушки и женщины под гордо развевающимся красным знаменем — его было видно за несколько кварталов. Моя душа тоже трепетала в общем порыве борьбы.

Я предварительно записала свою речь. Мне казалось, что я смогу вдохновить ей публику, но когда я дошла до Юнион-сквер и увидела море людей, то все готовые наброски показались мне холодными и бессмысленными.

В те дни атмосфера в рабочих кругах накалилась до предела. Политики, выступающие за права рабочих, призвали законодательное собрание Нью-Йорка начать борьбу с нищетой, но от их просьб отмахнулись. Безработица породила голод. Людей возмущало столь неприкрытое равнодушие власти к их проблемам. В воздухе на Юнион-сквер витали горечь и негодование, которые быстро передались и мне. Я должна была выступить последней и с нетерпением ждала своей очереди. И вот поток чужого извиняющегося красноречия наконец иссяк. Я начала подниматься на трибуну и услышала, как тысячи людей выкрикивают моё имя. Огромная толпа смотрела на меня снизу вверх — бледные, измученные лица. Моё сердце бешено колотилось, в висках стучало, колени подкашивались...

«Мужчины и женщины! — начала я свою речь. Вокруг мгновенно установилась тишина. — Вы понимаете, что Государство — ваш злейший враг? Это машина, которая калечит вас, чтобы закрепить власть хозяев. Вы, словно дети, верите политикам, позволяете им заполучить своё доверие, а они предают вас при первой же возможности. Да, те политики, что выступают за ваши права, могут и не предавать вас явно, но они помогают врагу держать вас на привязи, чтобы вы не сумели действовать самостоятельно. Государство — опора капитализма, и смешно ожидать от него возмещения ущерба. Разве вам непонятно, что глупо просить помощи от Олбани⁵² — да, вроде бы и неподалёку от нас, но там купаются в роскоши! 5-я авеню усыпана золотом, каждый особняк — цитадель богатства и власти. А вы, сотни людей, стоите здесь — голодные, закабалённые, бессильные. Давным-давно кардинал Мэннинг говорил, что „нужда не знает законов“, а „голодающий человек имеет право разделить хлеб своего соседа“. Он был церковником, а значит, поддерживал богачей, но даже у него хватило ума понять, что голод беспощаден ко всем. Вам предстоит заново понять, что вы имеете право на соседский хлеб. Соседи не только украли его у вас же — они ещё и сосут вашу кровь. И они будут и дальше обворовывать вас, ваших детей и детей ваших детей, если вы не проснётесь, если вы не посмеете бороться за свои права. Выходите к дворцам богачей и требуйте работы. Если они не дадут вам работы — требуйте хлеба. Если они откажут вам и здесь — заберите хлеб. Это ваше священное право!»

Внезапно тишину прорезал гром аплодисментов — бешеных, оглушительных. Ко мне тянулось море рук, и они казались мне трепещущими крыльями белых птиц...

На следующее утро я отправилась помогать безработным в Филадельфию. А уже в обеденных газетах появился искажённый пересказ моей речи: так, утверждалось, что я

призывала толпу к революции. «Красная Эмма обладает большим влиянием. Одного её острого слова достаточно, чтобы невежественная толпа кинулась разрушать Нью-Йорк». Кроме того, сообщалось, что меня увели «рослые молодчики», и полиция проследила за нашим маршрутом.

Вечером я пошла на собрание группы, где познакомилась ещё с несколькими анархистами. Самой заметной среди них была Наташа Ноткина — типичная русская революционерка, положившая всю свою жизнь на алтарь служения Делу. На понедельник, 21 августа, было назначено масштабное собрание. В тот день утренние газеты разнесли новость о том, что место моего пребывания раскрыто, и сыщики уже направляются в Филадельфию с арестным ордером. Я понимала, что важно успеть обратиться к публике до того, как меня схватят. Я впервые была в Филадельфии, и местные власти обо мне ничего не знали, а нью-йоркские сыщики вряд ли узнают меня по тем плохим фотографиям, что промелькнули пару раз в газетах. Я решила пойти в зал без сопровождения и незаметно прошмыгнуть внутрь.

Люди заполнили все близлежащие улицы. Никто меня не узнавал. Я уже поднималась на крыльцо, когда один анархист вдруг окликнул меня: «Вон Эмма!» Я отмахнулась от него, и тут же на моё плечо легла чья-то тяжёлая рука: «Вы арестованы, мисс Гольдман». Началось столпотворение. Люди бросились мне на помощь, но офицеры выхватили пистолеты и сдержали толпу. Один сыщик схватил меня за руку и стянул вниз по лестнице на улицу. Мне предложили поехать в полицейский участок на патрульной телеге либо же отправиться туда пешком. Я выбрала второе. Офицеры было попытались надеть на меня наручники, но я уверила их, что в этом нет нужды — убежать я не собиралась. По дороге какой-то мужчина прорвался через толпу и отдал мне свой кошелек; сыщики сразу арестовали его. Меня завели в башню ратуши, в полицейское управление, и оставили в камере на ночь.

Утром меня спросили, хочу ли я вернуться в Нью-Йорк с сыщиками. «Только если повезут насильно», — заявила я. «Очень хорошо, тогда мы задержим вас, пока не будет организована экстрадиция». Меня отвели в какую-то комнату, где взвесили, измерили рост и сфотографировали — я отчаянно не хотела сниматься, но мне крепко держали голову; тогда я зажмурила глаза. Должно быть, на фотографии я смахивала то ли на спящую красавицу, то ли на беглого преступника.



Нью-йоркские друзья волновались за меня и засыпали телеграммами и письмами. Эд писал сдержанно, но я ощущала его любовь между строк. Он собирался приехать в Филадельфию с деньгами и адвокатом, но я телеграммой попросила его повременить с этим и

понаблюдать, как будут развиваться события. Многие товарищи навестили меня в тюрьме: от них я узнала, что после моего ареста собрание продолжилось. Вольтарина де Клер решительно выступила против репрессий по отношению ко мне.



Вольтарина де Клер

Я слышала об этой известной американке. Она, как и я, вошла в анархистские круги под влиянием чикагских событий. Я давно хотела с ней познакомиться и, очутившись в Филадельфии, нанесла визит, но застала Вольтарину в постели: она всегда чувствовала себя дурно после митингов, а накануне моего приезда как раз давала лекцию. Я подумала, что со стороны Вольтаринины было очень мило отправиться защищать меня, забыв о нездоровье. Таким товариществом я могла гордиться.

На второй день ареста меня перевели в тюрьму Мояменсинг, где я должна была ожидать экстрадиции. Моя камера оказалась довольно просторной. В центре двери из плотного листового железа было квадратное отверстие, открывавшееся снаружи. Под потолком находилось зарешеченное окно. Кроме этого в камере был туалет, водопровод, лавка и железная койка. Освещала всё маленькая электрическая лампочка. Время от времени квадратик в двери открывался, и в нём мелькала пара глаз; иногда звучал приказ подать кружку — обратно она возвращалась с тепловатой водой или супом и кусочком хлеба. Всё остальное время царила тишина.

На второй день такое спокойствие стало угнетать. Часы тянулись бесконечно. Мне уже поднадоело постоянно ходить от окна до двери и обратно. Нервы были натянуты до предела. Я пыталась уловить хоть какой-то звук снаружи. Надзирательница не отзывалась, и тогда я стала колотить по двери жестяной кружкой. Наконец крупная женщина с суровым лицом вошла в камеру. Она предупредила меня, что шум нарушает тюремную дисциплину, и в следующий раз за него последует наказание. Я попросила принести свои письма — от друзей уже наверняка пришло несколько штук — и какие-нибудь книги. Надзирательница сказала, что почты для меня нет. Я знала, что она лжёт: Эд писал бы мне, даже если бы не писал никто другой. Книгу мне всё же принесли; это оказалась Библия. Перед глазами тотчас встало лицо моего школьного учителя религии... Я в негодовании швырнула книгу к ногам надзирательницы — зачем мне религиозное враньё, я хотела человеческую книгу! На

мгновение она в ужасе застыла, а затем гневно обрушилась на меня: «Ты осквернила слово Божие! Тебя посадят в подземелье! Будешь гореть в аду!» Я в ярости ответила, что наказывать меня не имеют права — я заключённая штата Нью-Йорк, меня ещё не осудили, а значит, у меня всё ещё есть кое-какие гражданские права. Надзирательница вылетела из камеры, захлопнув дверь.

К вечеру у меня ужасающе разболелась голова: нестерпимо яркий электрический свет прямо-таки выжигал мне глаза. Я снова постучала в дверь и потребовала привести врача. Тюремный терапевт зашла ко мне и дала какое-то лекарство; я спросила её, можно ли получить какие-то книги или хотя бы шитьё. На следующий день мне принесли окантовать несколько полотенец. Я с жадностью накинулась на работу и непрестанно думала о Саше с Эдом. Теперь-то я на собственном опыте поняла, каково Саше живётся в тюрьме. Двадцать два года! Мне хватит и года, чтобы сойти с ума.

В один день надзирательница зашла в камеру с новостью, что экстрадиция санкционирована и меня отправят в Нью-Йорк. Я проследовала за ней в кабинет, где мне вручили огромную пачку газет, писем и телеграмм. Меня уведомили, что приходило и несколько коробок с фруктами и цветами, но заключённым иметь такие вещи в камере запрещалось. Затем меня передали под контроль крепкого на вид мужчины. Извозчик довёз нас до вокзала.

В Нью-Йорк мы ехали в пульмановском вагоне. Мужчина представился детективом-сержантом N. Он извинился и сказал, что просто выполняет приказ, — ему нужно кормить шестерых детей. Я спросила, почему он не выбрал для этого занятия более благородного, нежели шпионство. «Если бы я не стал шпионом, им стал бы кто-нибудь ещё, — ответил он. — Полиция необходима — она защищает общество. Вы хотите пообедать? Я принесу еды из вагона-ресторана». Я согласилась: уже неделю мне не доводилось нормально питаться, да и всё равно мою вынужденно роскошную поездку оплачивал муниципалитет Нью-Йорка.

За обедом сыщик вдруг заговорил, как я молода, какие перспективы могли бы открыться передо мной, «прекрасной девушкой с блестящими способностями». Анархизмом, рассуждал он, не заработать ни гроша — так не пора ли мне образумиться и, скажем, найти себе «принца»? «Я хочу помочь тебе, потому что сам еврей, — продолжал полицейский. — Горько думать о том, что ты снова попадёшь в тюрьму. Я могу подсказать тебе, как освободиться, да ещё и заработать кучу денег, если ты будешь умницей».

«Давай-ка начистоту, — велела я. — О чём это ты?»

Оказалось, его начальник посулил закрыть дело и выдать мне солидную сумму, если только я кое-что время от времени буду сообщать властям — так, ничего особенного: всего-то пару слов об ист-сайдских радикальных кругах и рабочих.

Меня обуял гнев. Еда застряла в горле. Я глотнула воды из стакана, а остаток выплеснула сыщику в лицо. «Ты, убогая шавка! — закричала я. — Мало того, что сам ведёшь себя как Иуда, так ещё и меня хочешь сделать такой же дрянью — вместе со своим начальником! Пусть я сгнию в тюрьме, но никто меня не подкупит!»

«Ладно, ладно, — сказал он примирительно. — Поступай как знаешь».

С пенсильванского вокзала меня отвезли в полицейский участок на Малберри-стрит и оставили там на ночь в маленькой вонючей камере. Из обстановки была только деревянная лавка, на которой можно было сидеть или лежать. Я слышала лязг дверей соседних камер, тихий плач и истеричные рыдания. Утешало одно: рядом больше не маячит заплывшее лицо сыщика, мне не придётся снова дышать с этой ищейкой одним воздухом.

На следующее утро меня привели к начальнику. Он был в ярости: сыщик передал ему наш разговор. Полицейский называл меня дурой, тупой гусыней, упускающей свой единственный шанс, и угрожал упрятать за решётку на годы — оттуда-то уж я не смогу причинить никакого вреда. Я позволила ему выпустить пар, но перед уходом сказала: «Вся страна должна узнать, насколько продажен начальник нью-йоркской полиции». Он схватил стул, будто намереваясь бросить его в меня, но вдруг передумал и велел сыщику отвести меня обратно в участок.

Меня ожидала радостная встреча: в участок пришли Эд, Юстус Шваб и доктор Юлиус Хоффман. Днём я предстала перед судьёй, который предъявил мне обвинение в подстрекательстве к бунту по трём эпизодам. Суд был назначен на 28 сентября. Доктор Юлиус Хоффман внёс залог — пять тысяч долларов. Счастливые друзья отвезли меня в логово Юстуса.

В ворохе скопившихся писем я нашла «подпольное» письмо от Саши. «Теперь ты точно моя морячка», — писал он. Ему удалось наладить связь с Нольдом и Бауэром, и они уже готовились выпустить секретную тюремную газету — Gefängniss-Blüthen («Тюремные цветы»). Слово камень с души упало: прежний Саша вернулся, он снова интересуется жизнью и выстоит до конца! Пока ему придётся просидеть как минимум по первому обвинению — семь лет. Нужно активно бороться за сокращение остального срока. Мне нравилось мечтать о том, как мы вызволим Сашу из его «могилы»...

Заведение Юстуса было переполнено. Люди, которых я раньше никогда не видела, пришли выразить свою солидарность со мной. Внезапно я превратилась в известную персону, хоть и не могла понять почему — ведь я не сделала и не сказала ровным счётом ничего выдающегося. Но всё же было приятно, что мои идеи так заинтересовали публику: я ни минуты не сомневалась в том, что именно социальные теории, а не я сама привлекли внимание людей. Судебный процесс я расценивала как прекрасную возможность для пропаганды. Нужно было достойно к нему подготовиться, чтобы разнести послание анархизма по всей стране.

Меня удивило, что среди народа, заплонившего заведение Юстуса, не оказалось Клауса Тиммермана. «Как же он мог упустить такой повод выпить бесплатно?» — поинтересовалась я у Эда. Тот поначалу уклонялся от ответа, но я была настойчива. В конце концов Эд рассказал мне, что полицейские сперва безуспешно искали меня в бабушкиной овощной лавке, а затем арестовали Тиммермана. Они знали, что под действием алкоголя у Клауса развязывается язык, и надеялись выудить из него какие-нибудь сведения о моём местонахождении. Но Клаус отказался говорить. Его избили до потери сознания и

приговорили к полугоду заключения в тюрьме на Блэквелл-Айленд — по ложному обвинению в сопротивлении при аресте.

Приближался день суда. Федя, Эд, Юстус и остальные друзья настаивали, что мне понадобится адвокат. Я осознавала их правоту: достаточно было вспомнить, в какой фарс превратился суд над Сашей, а теперь ещё и безвинно пострадал Клаус... Без адвоката и у меня не окажется ни единого шанса. Но мне казалось, что я предам Сашу, если соглашусь на законную защиту, — он же отказался пойти на компромисс, хотя знал, что ему грозит немалый срок. Значит, я буду защищать себя сама.

За неделю до суда я получила очередное «подпольное» послание от Саши. Он писал, что мы, революционеры, в любом случае имеем мало шансов выиграть у американского правосудия, но без законной защиты эти шансы и вовсе стремятся к нулю. Саша не жалел о своём решении, он продолжал считать, что анархисту не подобает соглашаться на законного представителя или тратить деньги рабочих на адвокатов, но мою ситуацию он оценивал по-другому. Я, как хорошая ораторша, могла бы блестяще представить в суде идеи анархизма, а адвокат защищал бы моё право говорить. Саша предположил, что один выдающийся либеральный адвокат, Хью Пентикост, окажет мне свои услуги бесплатно. Я знала, что Саша волнуется за меня и потому уговаривает согласиться на то, в чём он так решительно отказал себе. Или он на собственном опыте осознал, что ошибался? Сашино письмо заставило меня изменить своё решение. Ко всему прочему меня вызвался бесплатно защищать Авраам Оуки Холл.

Мои друзья очень обрадовались: Оуки Холл был прекрасным юристом и, более того, человеком либеральных взглядов. Когда-то он даже был мэром Нью-Йорка, но гуманность и демократичность характера делали его чужаком в стане политиков. Вступив в связь с молодой актрисой, Холл окончательно поставил крест на своей карьере. Высокий, утончённый и жизнерадостный, он казался намного моложе своего истинного возраста, который выдавала обильная седина. Разумеется, мне было любопытно, почему Холл не собирается брать плату за свои услуги. Он объяснил, что делает это частично из-за симпатии ко мне, частично — из-за нелюбви к полицейским. Холл знал, как они продажны, как легко могут отнять у любого из нас свободу, и ему не терпелось публично разоблачить их методы. Моё дело как раз предоставляло ему такую возможность. Вопрос свободы слова был для Холла вопросом государственной важности; вызвавшись защищать меня, он собирался напомнить общественности о существующих в этой области проблемах. Меня подкупила его честность, и я согласилась, чтобы Холл занялся моим делом.

Суд надо мной начался 28 сентября (под председательством судьи Мартина) и продлился десять дней. Всё это время в зале находились журналисты и мои друзья. Прокурор предъявил мне три обвинения, но Оуки Холл разрушил его схему. Он заявил, что несправедливо проводить суд по трём отдельным обвинениям за одно преступление, и судья поддержал моего защитника. Два обвинения были сняты, и теперь меня судили только за «подстрекательство к бунтам».

В первый день процесса я выходила пообедать вместе с Эдом, Юстусом и Джоном Генри Мак-Кеем⁵⁴, поэтом-анархистом. Но когда судья объявил перерыв заседания и адвокат

собрался проводить меня домой, нас остановили: до конца процесса мне предписывался судебный арест, и теперь меня должны были отправить в «Гробницу»⁵⁵. Мой адвокат заявил, что я отпущена под залог, а процедура ареста допускается только при обвинении в убийстве. Но всё же меня незаконным образом заключили под стражу. Друзья ободряли меня как могли: провожали аплодисментами, пели революционные песни... Голос Юстуса звучал громче всех. Я призвала всех проследить за тем, чтобы знамя Эммы Гольдман развевалось и дальше, и выпить за тот день, когда исчезнут суды и тюремщики.

Звездой обвинения стал детектив Джейкобс. Он предоставил записи, которые (по его словам) сделал на Юнион-сквер во время моей речи. Судья по ним, я склоняла собравшихся к «революции, насилию и кровопролитию». Двенадцать человек, присутствовавших на митинге и слышавших речь, свидетельствовали в мою защиту: все они утверждали, что записать что-то на многолюдном митинге было физически невозможно. Записи Джейкоба прошли графологическую экспертизу, и эксперт заявил, что почерк слишком аккуратный и ровный для человека, стоявшего в тесной толпе. Но ни показания эксперта, ни показания свидетелей защиты не были приняты во внимание. Когда на вопросы обвинения отвечала я сама, окружной прокурор Мак-Интайр задавал мне вопросы о чём угодно — религии, свободной любви, нравственности, — только не о речи на Юнион-сквер. Я было начинала разоблачать цинизм нравственности, бичевать церковь — инструмент рабства, доказывать невозможность любви по принуждению, но вскоре оставила свои попытки: Мак-Интрайр постоянно прерывал меня, а судья требовал ограничиваться исключительно ответами «да» или «нет».

В заключительной речи Мак-Интайр делал красноречивые предсказания о том, что произойдёт, если «эта опасная женщина» (я) будет расхаживать на свободе: рухнет институт частной собственности, богачей уничтожат, по улицам Нью-Йорка потекут реки крови... Он впал в такое неистовство, что его накрахмаленный воротничок и манжеты размокли от выступившего пота — это было противнее всех его разглагольствований.

Оуки Холл выступил с превосходной речью, высмеяв в ней показания Джейкобса и жёстко осудив методы работы полиции и позицию суда. «Моя клиентка — идеалистка, — заявил он. — Всё великое в мире продвигалось идеалистами. Но даже речи более жестокие, чем у Эммы Гольдман, судом никогда не наказывались. Денежные мешки Америки разъярены с тех самых пор, как губернатор Альтгельд помиловал трёх выживших анархистов из чикагских висельников 1887 года. Митинг на Юнион-сквер дал полиции возможность сделать Эмму Гольдман своей мишенью. Очевидно, что моя клиентка стала жертвой полицейского преследования». Своё выступление Холл закончил вдохновенным призывом в защиту права на свободу самовыражения и требованием оправдать меня.

Судья в своём слове упирал на ценности закона, порядка, неприкосновенности имущества и на необходимость защищать «свободные устои Америки». Присяжные долго взвешивали все доводы — они, очевидно, не хотели признавать меня виновной. Особенно их поразили показания одного из моих свидетелей, молодого репортёра газеты New York World. Он присутствовал на митинге и сделал подробный репортаж с места событий. Наутро в газете журналист увидел свой текст донельзя искажённым, и потому он сам вызвался рассказать суду о том, что происходило на самом деле. Пока он давал показания, Джейкобс наклонился

к Мак-Интайру и что-то прошептал ему на ухо. Одного из зрителей куда-то отправили, и вскоре он вернулся с газетой New York World, датированной утром после митинга. На открытом суде журналист не смог обвинить редактора в том, что тот подделал его репортаж. Мою судьбу решили на основе газетного текста, а не первоначального материала журналиста. Меня признали виновной.

Адвокат настаивал, что мы должны подать жалобу в вышестоящие инстанции, но я отказалась. Разыгранный на суде фарс укрепил мою ненависть к Государству, и я больше не собиралась просить у него снисхождения. До 18 октября, даты вынесения приговора, меня отправили обратно в «Гробницу».

Перед отправкой в тюрьму мне дали краткое свидание с друзьями. Я повторила им то, что уже сказала Оуки Холлу: апелляции не будет. Они согласились, что таким путём ничего не добиться, разве что ненадолго будет отсрочено исполнение приговора. На одно мгновение я заколебалась: мысль об Эде и нашей любви — едва зародившейся, полной счастливых возможностей — искушала меня. Но я понимала, что обязана пройти тот путь, который до меня прошли уже многие. Я получу год-два: что это по сравнению с Сашиной участью?

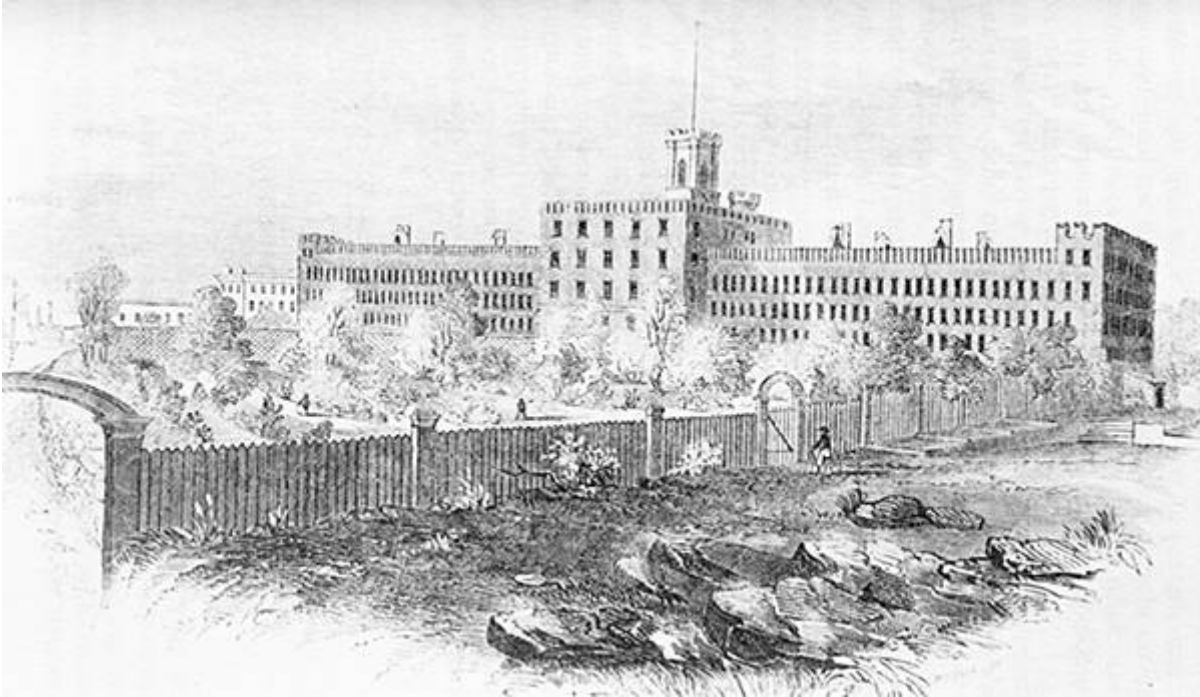
В дни ожидания приговора газеты разносили сенсационные новости об «анархистах, планирующих захватить зал суда», и «подготовке к вооружённому освобождению Эммы Гольдман». Полиция готовилась «справиться с ситуацией», все места сбора радикальных элементов находились под наблюдением, а зал суда охранялся. 18 октября в зале суда должны были присутствовать только я, адвокат и представители прессы.

Холл послал моим друзьям письмо, где сообщал, что отказывается присутствовать в суде из-за «упрямства Эммы и её отказа от жалобы в высший суд». Теперь у меня «на подхвате» был Хью Пентикост — не как адвокат, а как друг; при необходимости он мог защитить мои законные права и потребовать для меня слова. Эд рассказал, что New York World хочет опубликовать мою речь для суда — так её содержание узнало бы намного больше людей. Меня удивило, что это предложение исходит от газеты, опубликовавшей фальшивый репортаж о речи на Юнион-сквер. Эд сказал, что капиталистическая пресса не отчитывается за непоследовательность идейной линии, но ему пообещали предоставить пробные газетные оттиски, чтобы он удостоверил подлинность моих слов. Материал должен был появиться в специальном выпуске газеты сразу после объявления приговора. Друзья уговаривали меня передать газете рукопись речи, и я согласилась.

По дороге из «Гробницы» в суд мне почудилось, что Нью-Йорк перешёл на военное положение: улицы оцепила полиция, здания были окружены вооружёнными до зубов кордонами, коридоры в здании суда заполнили стражи порядка. Меня вызвали к решётке и спросили, хочу ли я что-нибудь возразить против вынесения приговора. Я могла сказать многое, но мне разрешили сделать только краткое заявление. «Тогда я скажу только то, что и не ожидала справедливого приговора от капиталистического суда. Суд может сотворить со мной самое худшее, но мои убеждения он изменить бессилён».

Судья Мартин осудил меня на год заключения в тюрьме Блэквелл-Айленд. По пути в «Гробницу» я слышала, как разносчики газет кричат: «Экстренный выпуск! Речь Эммы

Гольдман в суде!» Я обрадовалась, что в World сдержали своё обещание. Меня посадили в полицейскую машину и отвезли на корабль, доставлявший заключённых в тюрьму.



Тюрьма Блэквелл-Айленд

Был ясный октябрьский денёк; судно разгонялось, и от этого солнце оставляло на воде блики всё ярче и ярче. Меня сопровождали несколько журналистов, и каждый хотел взять интервью. «Путешествую, как королева, — пошутила я. — Только взгляните на моих сатрапов». «Эта малышка не промах», — восхищённо повторял молодой журналист. Мы подплыли к острову, и я попрощалась со своими спутниками. Напоследок я призвала их не писать лжи больше той, что они уже написали. «Увидимся через год!» — весело крикнула я и пошла к тюрьме по широкой трёхполосной дороге из гравия вслед за заместителем шерифа. Уже у самого входа я повернулась к реке, глубоко вдохнула последний глоток свободы — и переступила порог своего нового дома.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 17 апреля 2025 03:41:50

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 17 апреля 2025 03:44:10